

## ТРАГИЗМ МИРООЩУЩЕНИЯ ГЕОРГИЯ ИВАНОВА

М.Ю. Гапеенкова

### 1

Говоря о трагичности поэзии Георгия Иванова, мы основываемся на той трактовке понятия трагизма, которое дает А.Ф. Лосев в работе «Строение художественного мироощущения»<sup>1</sup>. Трагедия, с точки зрения А.Ф. Лосева, происходит от музыки, которая по существу своему создается только *во времени*, то есть живет как процессуальность. Она дает нам не самый предмет, не его пространственно-временную определенность, но лишь *чистое качество предмета*. Следовательно, музыкальное мироощущение есть ощущение непрерывного потока бытия и в то же время познание чистого качества предметов.

По А.Ф. Лосеву, «непрерывный поток бытия в соединении с его чистой качеством и до-предметностью есть ... с пространственно-временной точки зрения величайший хаос»<sup>2</sup>. Достаточно только, *чтобы эта сплошная и бесформенная масса бытия* вошла в душу и личность, и музыка явит нам свой подлинный трагический лик.

Если трагедия, данная при помощи словесного искусства, предполагает некую тайную силу, которая действует на человека, и если всякое слово есть уже нечто оформившееся, то есть производное, то можно говорить о непосредственной зависимости трагедии от музыки. Точнее было бы сказать, что трагедия произошла не от музыки, но *из духа музыки*, из ощущения бесформенной, хаотической качества бытия, поселяющей в душе тот же диссонанс, принципиальный и существенный.

Давая свое понимание трагизма, А.Ф. Лосев прежде всего обращает внимание на то, что трагизм не есть характеристика какой-либо отдельной области действительности, это — характеристика универсальная. Так как основное значение здесь принадлежит не строгому порядку мыслей, а интуитивному чувству, то необходимо говорить не о трагическом мирозерцании, но именно о трагическом *мироощущении*.

Трагическое мироощущение фиксирует в первую очередь два главных плана бытия: «общую, *мировую*, лежащую во всем видимом и слышимом жизнь и *человеческую личность*, связанную своими наиболее интимными корнями с этой мировой жизнью, однако по существу своему представляющую нечто пространственно-временное, нечто несущее в себе *principium individuationis*»<sup>3</sup>. В трагическом мироощущении эти два плана даны непосредственно, но незримо в нем дан еще и третий план — *план преображенной и воскресшей жизни*, с точки зрения которой удары судьбы понимаются как нравственно небезразличные. Если бы этот план не предполагался, то невозможно было бы объяснить весь ужас бытия, фиксируемого в трагическом мироощущении. Трагедия происходит из духа музыки, духа мятущегося, духа хаоса. И все же музыка не насквозь хаотична: она возвещает хаос накануне преображения. А.Ф. Лосев делает такой вывод из чувства некоего метафизического утешения, которое дает душе даже самая трагическая музыка.

В этом смысле лирика в своем чистом виде есть гораздо больше музыка, чем поэзия, поскольку в ней сохраняется бесформенная с пространственно-временной точки зрения текучесть бытия.

Необходимо также остановиться на том понимании трагической личности, которое мы находим у А.Ф. Лосева. Не та личность обязательно трагична, которая *сильна*, но та, *которая переживает грань двух указанных планов бытия*, то есть которая переживает прорыв темного космического бытия в ясный и оформленный мир видимой действительности. Личность может быть и слабой; но, раз она переживает эту грань, она — личность трагическая. Действительно, скорее всего можно предположить, что трагическая личность — это личность героическая, поскольку само переживание грани космической тьмы и человеческих установлений часто дано в форме борьбы за это человеческое, которое дорого нам своей стройностью. Однако вполне возможен трагизм, например, безволия (царь Федор Иоаннович у А.К. Толстого), поскольку главное здесь относительно личности — это ее возвышение до космических граней и переживание видимого мира как непрочного покрывала темных ужасов бытия вообще.

Примерами трагических поэтов, по мнению А.Ф. Лосева, являются Байрон и Лермонтов, лирика которых трагична почти насковзь. Этим качеством, на наш взгляд, обладает и лирика Георгия Иванова.

## 2

В одной из статей Георгий Иванов сказал о писателях-эмигрантах: «Самый простодушный из нас не только вправе — *обязан* глядеть на мир «со страшной высоты», как дух на смертных»<sup>4</sup>. Взгляд самого Георгия Иванова, действительно, был обращен к миру, и о сокровенной жизни мира говорят его стихи.

Георгий Иванов глубоко чувствовал, что организация этой мировой жизни принципиально чужда человеку, поэтому он не давал ей имени, а только описывал ее, часто делая все стихотворение или его отдельные строки своеобразным определением:

Это месяц плывет по эфиру,  
Это лодка скользит по волнам,  
Это жизнь приближается к миру,  
Это смерть улыбается нам.

(«Это месяц плывет по эфиру...»)

В представлении Георгия Иванова, глубинная основа бытия не только чужда и непонятна, — в его поэзии она предстает злой и бессмысленной. Она холодна к человеку и в своем безразличии готова его уничтожить. Георгий Иванов постоянно чувствует ледяное дыхание этой мировой бездны, поэтому так часто появляются в его поэзии образы холода, льда, синего света. Хотя мировая бездна и скрыта за ясной человеческой жизнью, Георгий Иванова не оставляет ощущение того, что она готова в любой момент вырваться из-за пределов этой жизни и разрушить ее.

Эту особенность поэзии Георгия Иванова заметил Ю. Терапиано, сказавший в одной из своих статей, что за «магией слова, которой так владеет Георгий Иванов, скрыт прорыв не только в сторону логически ясного, но и в область неведомого, противоположного нашей логике и нашему понятию о счастье и жизни»<sup>5</sup>. Человеческая жизнь, вопреки «...синему, холодному, / Бесконечному, бесплодному» мировому хаосу, стройна и оформлена и именно своей стройностью дорога поэту, и тем более дорога, что он осознает ее зыбкость. Не случайно большинство стихотворений, которые посвящены «внешней прелести жизни»<sup>6</sup>, фиксируют именно ее непрочность, хрупкость, момент перехода, по словам самого Георгия Иванова, «в смерть, вернее, в *тлен*»<sup>7</sup>:

...Штора на окне твоём.  
Вот её колышет воздух  
И из комнаты уносит  
Наше зыбкое тепло,  
То, что растворится в звездах,  
То, о чём никто не спросит,  
То, что было и прошло.  
(«Может быть, умру я в Ницце...»)

Итак, Георгий Иванов воспринимает мир состоящим из двух несовместимых частей: с одной стороны, это установившаяся человеческая жизнь; с другой, — нечто, не находящее себе имени в человеческом языке, бесконечность, неизменно ледяная и бездушная, «постоянно прорывающая видимый мир, это непрочное, хотя и блестящее покрывало Майи»<sup>8</sup>, бесконечность, приносящая в него боль и страдания.

Вся эмигрантская поэзия Георгия Иванова проникнута ощущением неверности счастья, зыбкости человеческого тепла. Его голос — это голос трагического поэта, он в полной мере обладает той чертой, которая отличает трагическую личность, — способностью переживать, по словам А.Ф. Лосева, прорыв тёмного космического бытия в ясный и оформленный мир видимой действительности. Лирическое я поэта «само являет собою раздвоение и само становится воплощённым противоречием»<sup>9</sup>.

Георгий Иванов и сам осознавал это своё положение, когда говорил: «Мне исковеркала жизнь / Талант двойного зренья...», понимая под таким талантом в первую очередь поэтический дар. Георгий Иванов воспринимал поэта как «существо с удвоенной, удесятеренной, утысяченной чувствительностью»<sup>10</sup>. Самому Георгию Иванову именно эта чувствительность позволяла переживать грань двух планов бытия — космической тьмы и человеческих установлений — и тем самым «исковеркала» ему жизнь, ибо лишила его веры в незыблемость и надёжность человеческой жизни:

Я в книгах читаю — добро, лицемерие,  
Надежда, отчаянье, вера, неверие.  
И вижу огромное, страшное, нежное,  
Насквозь ледяное, навек безнадежное.  
И вижу беспомыслие или мучение,  
Где всё навсегда потеряло значение.  
(«Я слышу — история и человечество...»)

Не случайно поэтому, что вдохновение, пробуждающее его от «золотого сна» и оставляющее на «краю мировой пустоты», Георгий Иванов считал подобным смерти и персонифицировал не в традиционном образе музы, а в образе Азраила, ангела смерти мусульманской религии:

Ну а всё же след чернил,  
Разведенных кровью, —  
Как склонялся Азраил  
**Ночью к изголовью...**  
(«До нелепости смешно...»)

Для Георгия Иванова не было ни радости, ни печали, берущих начало и завершающихся на земле. Он осознал, что источник человеческого счастья и страдания

находится вне плана человеческой жизни, — все события, все изменения, которые происходят в нем, зависят от состояния «звездной вечности»:

Мир оплывает, как свеча,  
И пламя пальцы обжигает.  
(«Ни светлым именем богов...»)

Ощущением этой неразрывной связи двух планов бытия продиктован ряд стихотворений Георгия Иванова, которые представляют собой своеобразные цепочки метаморфоз. Для этих дряхлых метаморфоз не существует границ между видимым человеческим миром и миром не-человеческим; они в своем движении связывают оба эти мира, заставляя их проникать друг в друга и выливаться в конце концов в саму поэзию — где-то, по выражению самого Георгия Иванова, «на границе бессмертия», где поэт благодаря «крайнему и высшему напряжению сознания и воли»<sup>11</sup> улавливает эту поэзию и воплощает ее в своих стихах, как это происходит, например, в стихотворении «Где прошлогдний снег, скажите мне?...».

Начиная с 1921 года, когда была издана книга стихов «Сады», Георгий Иванов постоянно обращается к теме перевоплощений, превращая «одно понятие в другое, изменяя его не только внешние признаки, но и его тайный смысл и вместе с тем оставляя его одновременно прежним»<sup>12</sup>. По мнению В. Крейда, «за строками стихов, посвященных этой теме, стоит реальный метафизический опыт»<sup>13</sup>, который дает возможность Георгию Иванову проводить в поэзии «уникальную мысль о перевоплощении феноменов»<sup>14</sup>. Как справедливо утверждает В. Крейд, это именно мысль, а не просто красивая метафора, о чем говорит настойчивость, с которой поэт возвращается к ней — вплоть до своей последней книги.

Другая тема, столь же постоянная, как и тема метаморфоз, и столь же дорогая Георгию Иванову, — это тема России. К ней обращались, наверно, все поэты-эмигранты; тоска по России, горечь изгнания были той общей атмосферой, в которой они жили. Однако, по мнению Ирины Одоевцевой, из всех, кого она знала в эмиграции, почти «никто не переживал ее так остро и больно, как ...Георгий Иванов». Для него эмиграция «вылилась в настоящее человеческое горе, в «земное хождение по мукам»<sup>15</sup>. ... Он жил, дышал Россией каждый день, каждый час»<sup>16</sup>: отказался от французского подданства, которое давало возможность относительно обеспеченной жизни, и в результате умер в доме для престарелых; не хотел путешествовать; не позволял ни себе, ни Ирине Одоевцевой писать по-французски, хотя после войны они оказались в настоящей нищете. Георгий Иванов, в отличие от многих эмигрантов, не идеализировал Серебряный век, не надеялся на возвращение в Россию и все же был, по словам Г. Адамовича, «крепче большинства, а пожалуй даже, и всех своих современников с прошлым связан, болезненнее и труднее с новыми условиями свыкался, и стихи его — красноречивое о том свидетельство»<sup>17</sup>:

За столько лет такого маянья  
По городам чужой земли  
Есть от чего прийти в отчаянье,  
И мы в отчаянье пришли.  
  
В отчаянье, в приют последний,  
Как будто мы пришли зимой  
С вечерни в церковке соседней,  
По снегу русскому, домой.  
(«За столько лет такого маянья...»)

Вся поэзия Георгия Иванова проникнута памятью о России, однако даже его ностальгические стихотворения говорят не только о личной драме изгнанника. Даже в таких стихотворениях, полных тоски и боли, открывается мировая трагедия, ибо Георгий Иванов видел в России не просто любимую и потерянную страну, — он видел в ее горестной судьбе торжество «мировой пустоты», прорыв ее сквозь грань человеческой жизни:

Только линия вьется кривая,  
Торжествуя над снежно-прямой,  
И шумит чепуха мировая,  
Ударяясь в гранит мировой.  
(«Я люблю эти снежные горы...»)

Трагедия дана в поэзии Георгия Иванова как установившееся состояние мира. Она неизбежна; Георгий Иванов не знает, где начало этой трагедии («Не будет ответа на вечный вопрос / О смерти, любви и страдании...»), но знает, что ей не будет конца («Я верю не в непобедимость зла, / А только в неизбежность поражения...»).

...Вот и надо выбирать —  
Или жить, как все на свете,  
Или умирать.  
(«Страсть? А если нет и страсти?..»)

Георгий Иванов, обладающий «талантом двойного зренья», «жить, как все на свете», не в силах, однако и мысль о смерти не становится доминирующей в его поэзии.

В этом смысле очень характерен образ лампы, появившийся в заглавии одного из ранних сборников Георгия Иванова, но важный и для его эмигрантской поэзии, ибо она вся может быть определена как роман о внутреннем свете<sup>18</sup>. Действительно, поэзия Георгия Иванова «в момент, казалось бы, полного отказа от просветления ... вдруг засияет самым ярким и таинственным светом, залогом полного освобождения и преображения»<sup>19</sup>. Этот внутренний свет поэзии Георгия Иванова побудил Ю. Иваска сравнить его с христианским поэтом Испании Хуаном де ла Крусом<sup>20</sup>. Хотя Георгий Иванов не взывает к Богу, его отчаяние столь глубоко, «метафизично», по выражению Ю. Иваска, что где-то граничит с приближением к Богу.

Особенно отчетлива эта граница в последних предсмертных стихах поэта, в которых иногда перед таинственным светом отступают хаос и мука:

Если б время остановить,  
Чтобы день увеличился вдвое,  
Перед смертью благословить  
Всех живущих и все живое.  
  
И у тех, кто обидел меня,  
Попросить смиренно прощенья,  
**Чтобы вспыхнуло пламя огня**  
Милосердия и очищенья.  
(«Если б время остановить...»)

Однако подобных стихотворений у Георгия Иванова немного, почти всегда переживание грани двух планов бытия обострено в его поэзии до предела. Поэтому в ней так много горя и муки, боли, иногда насмешки, — однако над ними неизменно веет «тихое, таинственное, немеркнувшее сияние, будто оттуда, сверху, дается этому человеческому крушению смысл, которого человек сам не в силах был бы найти»<sup>21</sup>:

Не будет ответа на вечный вопрос  
О смерти, любви и страдании,  
Но вместо ответа над ворохом роз,  
Омытое ливнями звуков и слез,  
Сияет воспоминанье  
О том, чем я вовсе и не дорожил,  
Когда на земле я томился. И жил.

(«Зачем, как шальные, свистят соловьи...»)

Это объясняется тем, что в его мироощущении, как и во всяком трагическом мироощущении, присутствует не только план общей мировой жизни и план человеческой личности. В нем дан — незримо и прикровенно — еще и третий план. Это «план *преображенной и воскресшей жизни*», ибо, «раз есть ужас бытия, то уже тем самым ожидается и смутно чувствуется преобразование этого страдающего мира»<sup>22</sup>.

Именно поэтому его стихотворения говорят не только о мировой бездне, ледяном хаосе и муке поэта — поэзия Георгия Иванова «возвещает хаос накануне преобразования. Это простой вывод из того чувства некоего метафизического утешения»<sup>23</sup>, которое она дает душе. Если бы не было этого утешения, этого света, «могла ли бы эта поэзия не только восхищать и прельщать своим словесным блеском, но и волновать, мучить, обещать, в самой безнадежности таить и внушать надежду — одним словом, «царить»?»<sup>24</sup>.

#### Литература и примечания

1. Лосев А.Ф. Форма. Стиль. Выражение. М., 1995. С. 297–321.
2. Там же. С. 319.
3. Там же. С. 314.
4. Иванов Г. Собр. соч.: В 3-х т. Т. 3. М., 1994. С. 539.
5. Критика русского зарубежья: В 2-х ч. Ч. 2. М., 2002. С. 74.
6. Иванов Г. Собр. соч.: В 3-х т. Т. 3. М., 1994. С. 533.
7. Там же.
8. Лосев А.Ф. Форма. Стиль. Выражение. М., 1995. С. 316.
9. Там же.
10. Иванов Г. Собр. соч.: В 3-х т. Т. 3. М., 1994. С. 154.
11. Там же. С. 533.
12. Мандельштам Ю. Заметки о стихах: Георгий Иванов // Журнал содружества. 1937. № 8/9. С. 30–34.
13. Крейд В. Петербургский период Георгия Иванова. Нью-Йорк, 1989. С. 119.
14. Там же.

15. *Иванов Г.* Собр. соч.: В 3-х т. Т. 1. М., 1994. С. 573.
16. *Одоевцева И.В.* Избранное: Стихотворения. На берегах Невы. На берегах Сены. М., 1998. С. 771.
17. *Гумилев Н., Ходасевич В., Иванов Г.* Стихи. Проза. М., 1998. С. 517.
18. *Крейд В.* Петербургский период Георгия Иванова. Нью-Йорк, 1989. С. 50.
19. *Мандельштам Ю.* Заметки о стихах: Георгий Иванов // Журнал содружества. 1937. № 8/9. С. 30–34.
20. *Иваск Ю.* Георгий Иванов. Собрание стихотворений // Новый журнал. 1976. № 125. С. 282–283.
21. *Адамович Г.* Одиночество и свобода. М., 1996. С. 334.
22. *Лосев А.Ф.* Форма. Стил. Выражение. М., 1995. С. 315.
23. Там же. С. 320.
24. *Адамович Г.* Одиночество и свобода. М., 1996. С. 335.